



---

## ПРОЛОГ

В конце войны судьба забросила меня в Нью-Йорк. Пятьдесят седьмая улица и ее окрестности стали для меня, изгнанника, с трудом объяснявшегося на языке этой страны, почти что второй родиной.

Позади расстился долгий, полный опасностей путь — *via dolorosa*<sup>1</sup> всех тех, кто бежал от гитлеровцев. Крестный путь этот шел из Голландии через Бельгию и Северную Францию в Париж, а потом разветвлялся: одна дорога вела через Лион на побережье Средиземного моря, другая — через Бордо и Пиренеи в Испанию и Португалию, в лиссабонский порт.

Я прошел этот путь подобно многим другим, спасавшимся от гестапо. И в тех странах, через которые он пролегал, мы не чувствовали себя в безопасности, ибо только очень немногие из нас имели подлинное удостоверение личности, подлинную визу. Стоило попасть в руки жандармов, и нас сажали за решетку, приговаривали к тюремному заключению, к высылке. Впрочем, в некоторых странах еще сохранилось подобие человечности — нас по крайней мере не выдворяли в Германию на верную гибель в концлагерях.

Только немногим беженцам удалось раздобыть настоящие паспорта, поэтому бегство наше было нескончаемым. К тому же без документов мы нигде не могли работать легально. Большинство из нас были голодные, жалкие и одинокие. Вот почему мы и назвали путь наших странствий *via dolorosa*.

Вокзалами нам служили почтамты в маленьких городишках и побеленные ограды на шоссе. В почтовых отделениях нас могло ждать письмо, посланное до востребования родными и близкими, а заборы заменяли доски объявлений. Мелом

---

<sup>1</sup> Скорбный путь (*исп.*).

и углем на них были выведены фамилии тех, кто потерялся, и тех, кто разыскивал друг друга, адреса, предостережения, указания. Призывы, брошенные в пустоту, да к тому же в годы тотального безразличия, вслед за которыми настала эпоха полной бесчеловечности — война, когда и гестапо, и полиция, а нередко и жандармы делали общее дело: охотились за нами, изгоями.

---

## I

Несколько месяцев назад я прибыл на грузовом пароходе из Лиссабона в Америку, по-английски говорил с грехом пополам; казалось, меня, полунемого и полуглухого, высадили на другую планету. Да это и была другая планета. Ведь в Европе шла война.

К тому же документы у меня были не в порядке, хотя буквально чудом я стал обладателем настоящей американской визы, дававшей мне право на въезд. Но паспорт мой был на чужую фамилию. Иммиграционные власти отнеслись ко мне с недоверием и засадили на Эллис-Айленд. И лишь шесть недель спустя мне выдали временное удостоверение на три месяца. За этот срок я должен был обеспечить себе разрешение на въезд в какую-нибудь другую страну.

Знакомая картина. В Европе я жил долгие годы точно так же, и передышки длились иногда не месяцы, а дни. Эмигрировав из Германии в тридцать третьем, я официально стал политическим мертвецом. А теперь мне целых три месяца не надо было бежать. Непостижимое счастье!

Уж давно я перестал удивляться тому, что ношу чужое имя и живу по паспорту умершего. Напротив, это казалось в порядке вещей. Паспорт я получил в наследство во Франкфурте. Фамилия человека, подарившего мне его в день своей смерти, была Росс. Таким образом, и я теперь звался Роберт Росс. Свою настоящую фамилию я почти забыл. Люди многое забывают, когда речь идет о жизни и смерти.

На Эллис-Айленде я встретил турка, который лет десять назад уже приезжал в Америку. Не знаю, по какой причине ему сейчас не разрешили въезд в Штаты. Спрашивать не имело смысла. На моей памяти не раз случалось, что людей высылали только из-за того, что они не подходили ни под одну рубрику инструкции.

Турок дал мне адрес одного русского в Нью-Йорке, с которым он был знаком в давние времена. К сожалению, он не знал, жив ли этот человек. Но когда меня выпустили, я сразу отправился к нему. Поступок мой был вполне объясним. Я жил так уже годы. Людям, вынужденным постоянно быть в бегах, не оставалось ничего другого, как рассчитывать на случай. Чем невероятней был случай, тем естественнее он казался. И в наши дни обыденность иногда походит на сказку. Не очень-то веселую сказку, но как ни удивительно, конец у нее часто оказывается куда более счастливым, чем можно было ожидать.

Русский работал в маленькой обшарпанной гостинице недалеко от Бродвея. Он назвался Меликовым, говорил по-немецки и сразу же принял во мне участие. Он-то знал, что мне всего нужнее: пристанище и работа. Пристанище нашлось без труда: у русского оказалась лишняя койка, и он поставил ее к себе в комнату. Но работать с туристской визой было запрещено. Тут требовались другие бумаги — разрешение на въезд с номером иммиграционной квоты. Значит, работать я мог только нелегально. Так же было и в Европе, и я не очень сокрушался. Кроме того, у меня еще оставалось немного денег.

— А на что вы будете жить? Об этом вы подумали? — спросил Меликов.

— Во Франции я под конец работал торговым агентом, продавал сомнительные картины и подделки под старину.

— Вы что-нибудь в этом смыслите?

— Не слишком, но кое-что усвоил.

— Где?

— Я два года провел в Брюссельском музее.

— Работали там? — с удивлением спросил Меликов.

— Нет. Скрывался, — ответил я.

— От немцев?

— От немцев, которые оккупировали Бельгию.

— Два года? — снова удивился Меликов. — И вас так и не нашли?

— Нет. Нашли того человека, который меня прятал.

Меликов взглянул на меня.

— Вы успели удрать?

— Да.

— А что случилось с тем человеком?

— То, что обычно случалось. Его отправили в концлагерь.

— Он был немец?

— Бельгиец. Директор музея.

Меликов кивнул.

— Каким образом вам удалось так долго скрываться? — спросил он, помолчав немного. — Разве в музее не было посетителей?

— Конечно, были. Днем я сидел взаперти в подвале, где находился запасник. Вечером являлся директор, приносил еду и на ночь выпускал меня из моего убежища. Из здания музея я не выходил, но мог выбираться из подвала. Свет, разумеется, нельзя было зажигать.

— А служащие музея что-нибудь знали?

— Нет. В запаснике не было окон. А когда кто-нибудь спускался в подвал, я сидел не шевелясь. Больше всего боялся чихнуть не вовремя.

— Вас из-за этого и обнаружили?

— Да нет. Кто-то обратил внимание, что директор либо чересчур часто засиживается в музее, либо возвращается туда по вечерам.

— Понятно, — сказал Меликов. — А читать вы могли?

— Только в летние ночи или при лунном свете.

— Но ночью вам разрешалось гулять по музею и рассматривать картины?

— Да, пока они были видны.

Меликов улыбнулся и неожиданно спросил:

— Хотите есть?

— Да, — сказал я. — И даже очень.

— Так я и думал. Стоит человеку очутиться на свободе — и у него появляется волчий аппетит. Поедим в аптеке.

— В аптеке?

— Да, в drugstore. Это одна из особенностей Штатов. В аптеке покупают аспирин и закусывают.

— Чем вы занимались целый день в музее, чтобы не сойти с ума? — спросил Меликов.

Я окинул взглядом аптеку: у длинной стойки люди торпливо жевали, глядя на рекламные плакаты и бутылки с лекарствами.

— А что мы тут будем есть? — спросил я в свою очередь.

— Котлеты. Это блюдо да еще венские сосиски — основная пища американцев. Бифштексы не по карману простому люду.

— Чем я занимался в музее? Ждал вечера. И, конечно, по возможности избегал думать об опасности, которая мне угрожала. Иначе я бы очень скоро свихнулся. Впрочем, у меня был опыт — уже несколько лет, как я скрывался. Один год даже в

самой Германии. Вот я и не позволял себе думать, что допустил хоть какую-нибудь оплошность. Раскаяние разъедает душу сильнее, чем соляная кислота. Это занятие для спокойных эпох. Ну, а потом я без конца занимался французским, сам себе давал уроки французского. Позже я стал ночами бродить по залам музея, рассматривать картины, запоминать их. Скоро я уже знал все полотна. И сидя днем в крошечной тьме, мысленно восстанавливал их в памяти. Я представлял их себе, следуя определенной системе, по порядку, иной раз на одну какую-нибудь картину тратил много дней. Порою на меня нападало отчаяние, но потом я начинал все сызнова. Если бы я просто любовался картинами, то, наверное, пропал бы. Но я придумал себе своего рода упражнение для памяти и благодаря этому все время совершенствовался. Теперь я уже не бился головой об стенку, я как бы поднимался вверх, ступенька за ступенькой. Понимаете?

— Да, вы не давали себе покоя, — сказал Меликов. — И у вас была цель. Это спасает.

— Одно лето я не расставался с Сезанном и с несколькими картинами Дега. Разумеется, это были воображаемые картины, и только в воображении я мог их оценить. Но все же я оценивал их. То был своего рода вызов судьбе. Я заучивал наизусть цвета и композицию, хотя никогда не видел ни одного цвета днем. Это был лунный Сезанн и ночной Дега. И я запоминал и сопоставлял эти картины в их сумеречном воплощении. Позже я нашел в библиотеке книги по искусству. И, присев под подоконником, усердно изучал их. Призрачный мир, но все же это был мир.

— Разве музей не охранялся?

— Только в дневные часы. Вечером его просто запирали. На мое счастье.

— И на несчастье человека, который носил вам еду.

— На несчастье человека, который прятал меня, — сказал я спокойно, взглянув на Меликова. Я понимал, что за его словами ничего не кроется, он не хотел меня обидеть. Просто констатировал факт.

— Не надейтесь стать нелегальным мойщиком тарелок, — сказал Меликов. — Это романтические бредни! Да и с тех пор, как существуют профсоюзы, такая возможность отпала. Сколько времени вы можете продержаться и не умереть с голоду?

— Совсем недолго... Сколько стоит этот завтрак?

— Полтора доллара. С начала войны здесь все дорожает.

— Войны? — сказал я. — Какая здесь война?

— Война идет! — возразил Меликов. — И опять-таки на ваше счастье. Требуются люди. Безработицы пока нет. Вам легче будет устроиться.

— Через два месяца мне снова придется удирать.

Меликов рассмеялся, зажмурив маленькие глазки.

— Америка — огромная страна. И война идет. На ваше счастье. Где вы родились?

— Согласно паспорту — в Гамбурге, на самом деле — в Ганновере.

— Ни в том, ни в другом случае это вам не грозит высылкой. Но вы можете угодить в лагерь для интернированных.

— В одном таком лагере я уже побывал. Во Франции, — сказал я, пожав плечами.

— Бежали?

— Скорее, просто ушел. После поражения, когда началась всеобщая неразбериха.

Меликов кивнул.

— Я тоже жил во Франции, когда началась всеобщая неразбериха в восемнадцатом году... Но только после победы — как оказалось, впрочем, весьма призрачной. Не выпить ли нам сейчас водки?

— Я привык с опаской относиться к алкоголю, — ответил я. — Несколько раз я из-за него переоценивал свои силы. И дважды это привело к весьма плачевным результатам... к тюремной камере, кишевшей насекомыми.

— В Испании?

— В Северной Америке.

— И все же давайте рискнем в третий раз. Тюремные камеры здесь чистые. Водка у меня в гостинице, тут вам не подадут ни капли... А вы романтик? — спросил он немного погодя.

— Для меня это — непозволительная роскошь. Полиция хватает романтиков чаще, чем всех прочих.

— Расчет полиции можете несколько месяцев не беспокоиться.

— Да, верно. Трудно сразу привыкнуть к этому.

Мы пошли к Меликову в гостиницу, но скоро мне стало там невмоготу. Я не хотел пить, не хотел сидеть среди потертого плюша, а комната у Меликова была совсем маленькая. Меня тянуло еще раз выйти на улицу, слишком долго я просидел взаперти. Даже Эллис-Айленд был тюрьмой — пусть сравнительно благоустроенной, но все же тюрьмой. Замеча-

ние Меликова о том, что в ближайшие два месяца можно не бояться полиции, не выходило у меня из головы. Два месяца — поразительно долгий срок!

— Сколько я еще могу гулять? — спросил я.

— Сколько хотите.

— Когда вы ложитесь спать?

Меликов небрежно махнул рукой.

— Не раньше утра. У меня сейчас самая работа. Желаете найти себе женщину? В Нью-Йорке это не так просто, как в Париже. И довольно рискованно.

— Нет. Я просто хочу побродить по городу.

— Женщину легче найти здесь, в гостинице.

— Мне она не нужна.

— Женщина нужна всегда.

— Только не сегодня.

— Стало быть, вы все же романтик, — сказал Меликов. — Запомните номер улицы и название гостиницы. Гостиница «Ройбен». В Нью-Йорке легко найти дорогу: почти все улицы пронумерованы, только немногие имеют название.

Совсем как я. И я стал номером, который носит случайное имя, мелькнуло у меня в голове. Какая успокоительная безымянность; имена приносили мне слишком много неприятностей.

Я бесцельно шел по этому безымянному городу. Грязные испарения его поднимались к небу. Ночью это был мрачный огненный столп, днем — белесый, как облако. Похоже, что именно так Господь Бог указывал в пустыне дорогу первому племени изгнанников, первым эмигрантам. Я шел сквозь бурю слов, шума, смеха, криков, которые глухо бились о мои барабанные перепонки, я слышал гул, не улавливая его смысл. После погруженной во мрак Европы люди казались мне Прометеями — вот потный детина в сполохах электрического света протягивает из дверей магазина руку, увешанную полотенцами и носками, умоляя прохожих купить его товар; вот повар жарит пиццу на огромной сковородке, а вокруг него так и летают искры, будто он не человек, а некое древнее божество. Я не понимал чужую речь, потому от меня ускользал и почти символический смысл пантомимы. Мне казалось, будто все происходит на сцене и передо мной не повара, не зазывалы, не продавцы, а марионетки, которые разыгрывают неведомую пьесу; я один в ней не участвую и угадываю лишь общий ее смысл. Я был в толпе и в то же время чувствовал

себя чужим, неприкаянным, отрезанным от людей; нас разделяла не стеклянная стена, не расстояние, не враждебность и не отчужденность, а что-то незримое. Это «что-то» касалось меня одного и коренилось во мне самом. Смутно я понимал: мгновение это неповторимо, оно никогда не вернется — уже завтра острота чувств притупится. И не потому, что окружающее станет мне ближе, — как раз наоборот. Возможно, уже завтра я начну борьбу за существование — буду ползать на брюхе, идти на компромиссы, фальшивить, нагромождая горы той полулжи, из которой и состоят наши будни. Но сегодня ночью город еще являл мне свое неразгаданное лицо.

И вдруг я понял: добравшись до чужих берегов, я отнюдь не избежал опасности, — напротив: именно сейчас она угрожала мне с особой силой. Угрожала не извне, а изнутри. Очень долго я думал только о том, чтобы сохранить себе жизнь. В этом и заключалось мое спасение. То был примитивный инстинкт самосохранения, инстинкт, который возникает на тонущем корабле, когда начинается паника и у человека одна цель — остаться в живых.

Но уже скоро, с завтрашнего дня, а может, даже с этой диковинной ночи, действительность раскроется передо мной по-новому, и у меня опять появится будущее, а стало быть, и прошлое. Прошлое, которое убивает, если не сумеешь его забыть или зачеркнуть. Я понял внезапно, что та корка льда, которая успела образоваться, еще долгое время будет слишком тонкой, ходить по ней опасно. Лед провалится. И этого надо избежать. Смогу ли я начать жизнь во второй раз? Начать сначала — познать то, что простирается передо мной, так же, как я познаю этот чужой язык? Смогу ли я начать снова? И не будет ли это предательством, двойным предательством по отношению к мертвым, к людям, которые были мне дороги?

Я быстро повернулся и пошел назад, смущенный и глубоко взволнованный. Теперь я уже не глазел по сторонам. А когда увидел перед собой гостиницу, у меня вдруг радостно забилось сердце. Другие гостиницы лезли вширь и вверх, стараясь быть позаметней, а эта была тихой и незаметной.

Я вошел в вестибюль, уродливо отделанный «под мрамор», и увидел Меликова, дремавшего в качалке позади стойки. Он открыл глаза, и мне на секунду показалось, что у него нет век, как у старого попугая. Потом его глаза поголубели и посветлели.

— Вы играете в шахматы? — спросил он, вставая.

— Как все эмигранты.

— Хорошо. Пойду принесу водку.

Он пошел наверх. Я огляделся. Почему-то мне почудилось, что я дома. Человеку, который давно не имел дома, часто приходят в голову подобные мысли.

## II

В английском я делал большие успехи, и недели через две мой словарный запас был уже как у пятнадцатилетнего подростка. По утрам я несколько часов проводил среди красного плюша гостиницы «Ройбен» — зубрил грамматику, а во второй половине дня изыскивал возможности для устной практики. Действовал я без малейшего стыда и стеснения. Заметив, что за десять дней, проведенных с Меликовым, у меня появился русский акцент, я тут же перекинулся на постояльцев и служащих гостиницы. И поочередно усваивал самые разнообразные акценты: немецкий, еврейский, французский. Под конец, сведя дружбу с уборщицами и горничными и уверовав, что они-то и есть стопроцентные американки, я начал говорить с явным бруклинским акцентом.

— Надо тебе завести роман с молоденькой американкой, — сказал Меликов: за это время мы перешли с ним на «ты».

— Из Бруклина? — спросил я.

— Лучше из Бостона. Там всего правильнее говорят.

— Тогда уж надо найти учительницу из Бостона. Это было бы самое рациональное.

— К несчастью, наша гостиница — караван-сарай. Различные акценты носятся в воздухе, как тифозные бактерии, а ты, увы, легко перенимаешь все отклонения от нормы и совершенно глух к нормальной речи. Надеюсь, тебе поможет любовь.

— Владимир, — сказал я, — мир и так уже слишком быстро меняется для меня. С каждым днем мое английское «я» становится на год старше, и, к великому сожалению, мир этого «я» теряет свои чары. Чем лучше я понимаю язык, тем скорее исчезает таинственность. Пройдет еще несколько недель, и оба мои «я» уравновесятся. Американское «я» станет столь же скучно трезвым, как и европейское. Дай срок! И оставь в покое мое произношение. Я не хочу, чтобы мое второе детство пролетело так быстро.

— Не бойся, не пролетит. Пока что твой умственный кругозор равен кругозору зеленщика-меланхолика по имени Аннибале Бальбо, который торгует здесь на углу. Ты уже и так пересыпаешь свою речь итальянскими словечками, они плавают в твоём английском, как волокна мяса в рисовом супе по-итальянски.

— А вообще-то существуют настоящие, коренные американцы?

— Конечно. Но через нью-йоркский порт на город обрушивается лавина эмигрантов — ирландцы, итальянцы, немцы, евреи, армяне и еще десятки разных национальностей. Как там говорят у вас: «Здесь ты человек, здесь ты можешь существовать»<sup>1</sup>. Здесь ты эмигрант, здесь ты можешь существовать. Эта страна основана эмигрантами. Отбрось свои европейские комплексы неполноценности. Здесь ты снова человек, а не истерзанный комок плоти, прилепленный к собственному паспорту.

Я поднял глаза от шахматной доски.

— Ты прав, Владимир, — сказал я медленно. — Посмотрим, сколько это продлится.

— Не веришь, что это будет длиться долго?

— Как я могу верить?

— Во что же ты веришь?

— В то, что с каждым днем мне становится хуже, — ответил я.

Незнакомый человек, прихрамывая, шел по вестибюлю. Мы сидели в полутьме, и я лишь смутно видел вошедшего. Однако его странная хромота в ритме трех четвертей такта напомнила мне кого-то.

— Лахман, — сказал я вполголоса.

Незнакомец остановился и взглянул в мою сторону.

— Лахман! — повторил я.

— Моя фамилия Мертон, — ответил он.

Я щелкнул выключателем. Из весьма жалкой люстры, представлявшей собою наихудший образец модерна начала двадцатого века, заструился безрадостно-тусклый свет — желтый и синеватый.

— Боже мой! Роберт! — воскликнул вошедший с удивлением. — Ты жив? А я думал, ты уже давно погиб.

— То же самое я думал о тебе. Но узнал тебя по походке.

— По моей хромоте в три четверти такта?

---

<sup>1</sup> Строка из Гете.

— По твоему вальсирующему шагу, Курт. Ты знаком с Меликовым?

— Конечно, знаком.

— Живешь здесь?

— Нет. Но иногда захаживаю.

— Теперь твоя фамилия Мертон?

— Да. А твоя?

— Росс. Имя осталось то же.

— Вот как люди встречаются, — сказал Лахман, слегка усмехнувшись.

Мы немного помолчали. Всегдашняя тягостная пауза при встрече эмигрантов. Никогда ведь не знаешь, о ком и о чем можно спрашивать. Не знаешь, кого уже нет в живых.

— Ты слышал что-нибудь о Кане? — спросил я наконец.

И это был обычный прием. Сначала осторожно узнать о людях, которые не так уж близки твоему собеседнику.

— Он в Нью-Йорке, — ответил Лахман.

— Он тоже? Как ему удалось перебраться сюда?

— А как все перебирались сюда. Благодаря тысяче случайностей. Никого ведь из нас не было в составленном американцами списке знаменитостей.

Меликов выключил верхний свет и вытащил бутылку из-под стойки.

— Американская водка, — сказал он. — Нечто вроде калифорнийского бордо или бургундского из Сан-Франциско. Или рейнского из Чили. Салют! Одно из преимуществ эмиграции в том, что приходится часто прощаться и посему можно часто выпивать в честь новой встречи. Создается иллюзия долголетия.

Ни Лахман, ни я не ответили ему. Меликов был человеком иного поколения: то, что нам еще причиняло боль, для него уже стало воспоминанием.

— Салют, Владимир! — Я первый прервал молчание. — И почему мы не родились йогами?

— Я бы удовольствовался меньшим — не родиться евреем в Германии, — сказал Лахман-Мертон.

— Воспринимайте себя как первых граждан мира, — невозмутимо заметил Меликов. — И ведите себя соответственно как первооткрыватели. Настанет время, и вам будут ставить памятники.

— Когда? — спросил Лахман.

— Где? — спросил я.

— На Луне, — сказал Меликов и пошел к конторке, чтобы выдать ключ постояльцу.

— Остряк, — сказал Лахман, поглядев ему вслед. — Ты работаешь на него?

— То есть?

— Девочки. При случае морфий и тому подобное. Кажется, он и букмекер к тому же.

— Ты из-за этого сюда пришел?

— Нет. Я по уши влюбился в одну женщину. Ей, представь себе, пятьдесят, она родом из Пуэрто-Рико, католичка и без ноги. Ей ампутировали ногу. У нее шуры-муры с одним мексиканцем. Явным сутенером. За пять долларов он согласился бы сам постелить нам постель. Но этого она не хочет. Ни в коем случае. Верит, что Господь Бог взирает на нас, сидя на облаке. И по ночам тоже. Я сказал ей: Господь Бог близорук. Уже давно. Не помогает. Но деньги она берет. И обещает. А потом смеется. И опять обещает. Что ты на это скажешь? Неужели я для этого приехал в Штаты? Черт знает что!

У Лахмана из-за хромоты появился комплекс неполноценности, но, судя по его рассказам, раньше он пользовался феноменальным успехом у дам. Об этом прослышал один эсэсовец и затасил Лахмана в пивнушку штурмовиков в районе Берлин-Вильмерсдорф — хотел его оскопить. Но эсэсовцу помешала полиция — это было еще в тридцать четвертом. Лахман отделался несколькими шрамами и четырьмя переломами ноги, которые плохо срослись. С тех пор он стал хромать и пристрастился к женщинам с легкими физическими изъянами. Остальное ему безразлично, лишь бы дама обладала солидным и крепким задом. Даже во Франции в невыносимо тяжелых условиях Лахман продолжал свою карьеру бабника. Он уверял, что в Руане крутил любовь с трехгрудой женщиной, у которой к тому же груди были на спине.

— А задница у нее твердая как камень, — протянул он мечтательно, — горячий мрамор.

— Ты ничуть не изменился, Курт, — сказал я.

— Человек вообще не меняется. Несмотря на то, что дает себе тысячу клятв. Когда тебя кладут на обе лопатки, ты полон раскаяния, но стоит вздохнуть свободнее, и все клятвы забыты, — Лахман на секунду задумался. — Что это: героизм или идиотизм?

На его сером, изрезанном морщинами лбу выступили крупные капли пота.

— Героизм, — сказал я, — в нашем положении надо украшать себя самыми хвалебными эпитетами. Не стоит заглядыв-